



Антон КРАЙНИЙ (З. Н. ГИППИУС)

Литературный дневник

<фрагменты>

ВСЕ ПРОТИВ ВСЕХ

I

Как всякое явление в литературе слишком новое и независимое, «Вопросы жизни», молодой журнал, издающийся с прошлого года в Петербурге, у нас тщательно и недружелюбно замалчивают.

Тут сказывается умственный консерватизм наших радикалов.

Нет сомнения, что «Вопросы жизни» — орган прогрессивный, «красный», более яркого красного цвета, чем наши румяные или только нарумяненные, постепенно линяющие, бледно-розовые либеральные старички, которые тщетно стараются сохранить неизменным цвет лица своего и цвет своих мыслей с блаженной памяти шестидесятых годов. Боязливым и недоверчивым взором косятся они на своего юного собрата: не ко двору ты нам, бог с тобой. Метафизика, мистика, религия — все это реакцией попахивает. Нет, уж лучше мне по старинке...

А жаль, потому что новый журнал — очень серьезное, не только литературное, но и общественное явление.

Если бы нужно было определить его двумя словами, то можно бы сделать это формулой: *переход от позитивной к религиозной общественности.*

Задача — в высшей степени трудная. Тут прежде всего трудность теоретическая — сопротивление всей русской и европейской общественности, которая вся насквозь в своем сознательном или бессознательном уклоне — антирелигиозна; сопротивление всего исторического христианства, которое все насквозь антисоциально, противообщественно, а если и общественно, то в самом жалком реакционном смысле.

Еще неодолимее трудность практическая, особенно у нас, в России, где связь религии с реакцией — не отвлеченная, а самая реальная, кровная, иногда кровавая. Говорить о ней все равно, что говорить о веревке в доме повешенного.

Чтобы разрубить этот проклятый гордиев узел, нужны не только сильные, но и чистые руки; чтобы преодолеть этот неизменный реализм, нужен высокий идеализм в самом благородном смысле этого слова; наши «идеалисты» были настоящими идеалистами, именно в этом смысле. Вероятно, злейшие враги их, от которых они претерпели столько несправедливых гонений вплоть до обычного укора в политическом отступничестве, согласятся, по крайней мере, в тайне совести своей, что у наших идеалистов руки были в достаточной степени чисты для этого чистого дела. И каков бы ни был успех или неуспех, уже самый почин имеет великое значение, которое рано или поздно будет оценено по достоинству. Такие усилия не могут пропасть даром.

Другое достоинство «Вопросов жизни» — культурность. В журналистике нашей издавна повелось так, что вечные культурные ценности — наука, философия, искусство, художественная литература — приносятся в жертву не только вечным, но и временным злободневным, политическим целям, «тактике и практике», по выражению Бакунина. Слишком строго судить за это нельзя, потому что в России от политики действительно зависит все, и тут беда не столько в том, что культурой жертвуют политике, сколько в том, что это делают с чересчур легким сердцем, без достаточного сознания, как велика и ответственна жертва. Этого греха на «Вопросах жизни» нет; для них культура не только средство, но и цель, не только орудие политики, но и самостоятельная, вечная ценность. От того, что есть, журнал стремится к тому, что должно быть, к тому, чтобы не культура служила политике, а, наоборот, культуре — политика.

Ввиду этих двух достоинств, общественного и культурного, можно сказать с уверенностью: «Вопросы жизни» — *лучший из русских журналов.*

II

Таков актив, теперь подведем и пассив.

По всей вероятности, сами руководители «Вопросов жизни» сознают, что религиозная общественность для них только бла-

гое пожелание, *pium desiderium*¹, а не совершившийся факт. Между религиозной и общественной стороной журнала существует неразрешенное, может быть, неразрешимое противоречие.

То, что внутренние обозрения г. Штильмана, которые, главным образом, и придают радикальное направление журналу, не имеют никакого отношения к его религиозному существу — это бы еще с полгоря. Тут противоречие слишком явное, внешнее; опаснее противоречия внутренние в самом этом религиозном существе и, наконец, всего опаснее те внешние, преждевременные и обманчивые соглашения, которыми прикрываются более или менее удачно эти противоречия.

Одно из них — «христианская политика» С. Н. Булгакова. Я не сомневаюсь и в том, что он искренний политик; но я не вижу, чем христианство изменило его политику и чем политика изменила его христианство. Какими были они врозь, такими и продолжают быть вместе. До своего христианского обращения, Булгаков был политическим радикалом, и точно таким же радикалом остался и после. Произошло соединение не внутреннее, органическое, а внешнее, механическое, даже не соединение, а соединствование, в котором оба начала взаимно непроницаемы. Сколько ни взбалтывай и ни смешивай масла с водою, стоит им устояться, чтобы вода опустилась, а масло всплыло вверх: они рядом, но не одно.

Во всей политической деятельности Булгакова чувствуется несколько неуклюжая, неповоротливая, но большая умственная и нравственная сила. Он умеет хотеть того, чего хочет: это в наши дни редкое свойство. Но в душевном складе его есть черта опасная: отсутствие всякой внутренней трагедии, чрезмерное, умственное благополучие. Вся его трагедия внешняя — несоответствие идеала с действительностью. Когда Булгаков говорит, то кажется, вокруг него плохо, а в нем самом как нельзя лучше. Ему спокойно за Вл. Соловьевым, как за каменной горою. Пифагорейское *ipse dixit*, *сам сказал* ограждает ученика от всяких умственных тревожений и бурь². Гете заметил, что человеку, чтобы вступить во владение духовным наследством, недостаточно получить его от предков, надо и самому приобрести снова. Иногда кажется, что Булгаков получил от Вл. Соловьева наследство, но сам не приобрел его, не выстрадал. Я говорю: кажется, — потому что, на самом деле, под этим внешним благополучием, может быть и совершается внутренняя трагедия, только мы ее не видим, он сам ее не видит, скрывает от себя и от других, отрещивается от нее. И напрасно делает. *Если семя*

*не умрет, то не оживет*³. Мы знаем, чем Булгаков жил, но от чего он умер — не знаем. Или он жил, не умирая?

Булгаков и Бердяев — это уже не вода и масло, а вода и огонь. Только совершенным невниманием к литературной личности обоих писателей можно объяснить то, что наша критика соединила их в неразлучную парочку каких-то сиамских близнецов идеализма. Если Булгаков опасно здоров, то Бердяев опасно болен; если у Булгакова — отсутствие трагедии, чрезмерное благополучие, то у Бердяева такая трагедия, что за него страшно — выйдет ли он жив из нее. Это та же самая трагедия, как у всех главных героев Достоевского от Ставрогина до Ивана Карамазова: бесконечное раздвоение ума и сердца, воли между бездною верхнею и нижнею, между «идеалом Мадонны и идеалом Содомским», как выражается Дмитрий Карамазов⁴. Для того, чтобы достигнуть религиозного соединения, надо пройти до конца эту трагедию метафизической двойственности; но горе тому, кто слишком долго на ней останавливается, кому она *слишком нравится*. Бердяев от нее страдает, но вместе с тем любит ее, — чем больше страдает, тем больше любит. Ищет выхода, но если бы нашел его, то, может быть, не захотел бы, предпочел трагическую безвыходность. Он видит весь ужас того, что с ним происходит, но ужас для него сладостен, может быть, сладостнее спасения. Как у эстетов — искусство для искусства, так у Бердяева — трагедия для трагедии.

Булгаков остановился на Вл. Соловьеве и не хочет или не может идти дальше. Бердяев как будто вечно куда-то идет, а на самом деле только ходит, движется однообразным круговым движением на собственной оси, колеблется, как маятник, справа налево. Слева направо, от Ормузда к Ариману, от Аримана к Ормузду⁵ — так без конца, пока ось не перетрется, или пружина маятника не лопнет, тогда он остановится на той самой точке, от которой началось это никуда не приводящее, неподвижное движение.

О Бердяеве можно сказать то же, что Кириллов говорит о Ставрогине: «Когда он верит, то не верит, что верит, а когда не верит, то не верит, что не верит»⁶.

По некоторым признакам, я надеюсь, что Бердяев, наконец, преодолеет свою трагедию, — сорвется со своей оси и устремится уже окончательно вправо или влево, к Ормузду или Ариману. Я даже надеюсь, что он пойдет именно туда, куда следует, вправо, а не влево. И тогда только покажет, на что способен, и какая религиозная сила была связана в этом трагическом бессилии двойственности. Тогда, может быть, и для Булгакова он

будет нужнее, чем кто-либо, а пока — нет человека более ненужного, более вредного для Булгакова, чем Бердяев, и для Бердяева, чем Булгаков. Кажется, лучшее, что они могли бы сделать сейчас — это вступить в открытый умственный поединок на жизнь и смерть: может быть, слишком благополучный монизм Булгакова раскололся бы, столкнувшись со слишком неблагоприятным дуализмом Бердяева, и от удара этих двух скрещенных шпаг зажглась бы искра того подлинного, религиозного огня, который так нужен обоим. А есть с одного блюда, спать на одном ложе, подобно сиамским близнецам, внутренне будучи на ножах, — надо удивляться, как это им обоим, наконец, не опротивело.

Такой же дурной мир, который хуже доброй брани, как между Булгаковым и Бердяевым, — между Бердяевым и Волжским, между Шестовым и Вяч. Ивановым, между всеми идеалистами и всеми христианами, между христианами и декадентами, между декадентами и общественниками. Многие даже не видят друг друга в лицо, но, если бы увидели, то возненавидели бы. Каждый за себя, и все против всех.

III

А, может быть, и хуже того: не все против всех, а никому ни до кого дела нет, и «Вопросы жизни» — не будущее поле сражения, а самая спокойная, удобная квартира, великолепные меблированные комнаты «для солидных жильцов» или изящная гостиница в «новом стиле». Жильцы сидят у себя, всякий в своем отдельном углу. У себя они свободны делать, что угодно, лишь бы не беспокоили через стены соседей. Внутренних дверей между комнатами нет, — все двери в коридор. При входе жильцы редко встречаются. И через стены, действительно, не беспокоят друг друга. Может быть, многие и не интересуются, кто живет рядом, — лишь бы своя комната была прибрана. Большой зал приспособлен под «общественников». Их живет несколько вместе и не ссорятся. А дальше все номера, роскошные «отдельные кабинеты» скептиков и уютные спальни, кельйки мистиков. Как и почему в этой же квартире очутилось «отделение изящной литературы», и самой новейшей, в подавляющем большинстве, декадентской (Сологуб, Ремизов, Блок), — совершенная загадка. Ни один декадент, я думаю, и мимо двери бердяевской комнаты не проходил, о деле «общественников» и говорить нечего. Декадент одинаково не подозревает суще-

ствования индивидуалистов и общественников и даже другого соседнего декадента. Ему бы на зеленый луг с беклиновскими⁷ кипарисами, нимфами и кентаврами, а он — в мебелированных комнатах. Впрочем, ему все равно. Здесь так здесь. Ему никто не мешает.

Единственный в «Вопросах жизни», кто добросовестно соединяет несоединимое, правда, не столько людей и понятия, сколько слова, это — г. Чулков⁸; причем, без всякого злого умысла, а как-то невинно и нечаянно он самые юные и чистые из них лишает девственности. Было, например, юное слово: анархизм и другое еще более юное: мистицизм; г. Чулков соединил их — и получился *«мистический анархизм»*. Что это такое? Казалось бы, сочетание таких противоположных крайностей должно произвести нечто в высшей степени опасное, взрывчатое, вроде бомбы, начиненной динамитом. Ничуть не бывало. Получился не динамит, а очень пикантное, новое, литературное кушанье, пряный соус, от которого может слегка расстроиться желудок, но уж, конечно, никакого взрыва не произойдет. Дело в том, что г. Чулков стряпает свои соединения не в лаборатории взрывчатых веществ, а в самой безопасной, усовершенствованной гигиенической кухне. Здесь, в одной кастрюльке, с наивной старательностью, варит он мистицизм с декадентством, софианство Вл. Соловьева с оргиазмом Вяч. Иванова и посыпает их сахаром социализма, думая, что это анархическая соль. Но беда не велика, сойдет и сахар за соль, ведь все хозяйство в «новом стиле», так что все ко всему готовы, и никто ничему не удивляется. Вот, разве только в общем коридоре, который плохо проветривается, потому что все двери в номера всегда плотно заперты, — иногда слишком пахнет чулковской кухнею...

Я смеюсь, но мне грустно. Я люблю «Вопросы жизни», уже потому люблю, что в них есть и моего меду капля. Они выросли на могиле «Нового пути». Но, любя «Вопросы жизни», я не знаю, чего бы желать им больше, счастливого долгоденствия или скорого трагического конца, может быть, даже самоубийственного. Кажется, я предпочел бы для них последнее, именно потому, что я их люблю. Ну что за радость, в самом деле, — в этом смешении языков, внутренней войне всех против всех под внешним благополучием мебелированных комнат? Есть прекрасный журнал, или вернее, есть ряд прекрасных альманахов-сборников под общим заглавием, но нет действительно *общего*, общественного и религиозного дела. Уж пусть бы лучше все участники этого мнимого дела разошлись окончательно; тогда,

может быть, некоторые из них впоследствии и вернулись бы друг к другу и сошлись бы тоже окончательно.

По всей вероятности, для такого нового соединения «Вопросы жизни» не пригодны, и нужен совсем новый журнал, новое дело. Оно, впрочем, и естественно: нельзя же вечно задавать «вопросы»; в июне — «вопросы», в июле — «вопросы», в августе — «вопросы»; надо же когда-нибудь и ответить.

Будем надеяться, что ответом на «Вопросы жизни» будет *вестник жизни*, дело, еще не родившееся, но уже зачатое, которому и следует от всего сердца, не как близкому только, а как своему собственному родному делу, сказать: Бог в помощь!

БЕЗ МИРА

Мне думалось сначала написать о двух московских сборниках, вышедших почти одновременно: «Свободная совесть» (вып. 2) и «Вопросы религии». Но я, кажется, напишу только о втором. И во втором-то многое мне непонятно; самый же смысл существования первого, «Свободной совести», — его живое лицо, — окончательно от меня ускользает. Пришлось бы утверждать, что ни смысла, ни живого лица у этого сборника нет; а я этого не хочу. Я знаю многих участников его как людей талантливых и значительных; если данные их статьи и не из лучших — то это еще ничего не значит. Я смысла соединения их, в одной тяжелой книжке под одной серой обложкой «Свободной совести», не понимаю, и лучше не буду никого судить, оставляя это на совести участников. Может быть, С. Соловьев и А. Белый¹ знают, где и чем их произведения связаны с длинной дамской повестью о храбром генерале, любящем розы, и его героической дочери, защищавшей крепость во время усмирения Кавказа и поддержавшей честь полка; я этой связи не вижу, и лгать не хочу, что вижу. Не вижу в «сборнике», в его факте никакого «дела», ничего «общего». Оттого и не могу ничего писать.

«Вопросы религии»... это, прежде всего, действительно *сборник*, собрание людей, связанных между собой одной нитью. Если не одним пониманием (это мы сейчас увидим, одним ли пониманием они связаны), то во всяком случае, одним... словом. Слово это — христианство. В кратком предисловии сборника сказано, что «отдельные статьи внутренне будут *объединяться общностью христианского мировоззрения*». И добавлено: «но при этом, авторам предоставляется полная свобода для выраже-

ния индивидуальных мнений и даже разногласий *по вопросам второстепенной важности*». Общность «христианского» — (т. е. одного и очень определенного), — мировоззрения (т. е. миропонимания, всепонимания), — вот чем связаны участники сборника, как они думают.

Действительно, при такой крепкой связи, такой всеохватывающей общности, не страшны частные, личные разногласия. Но что называют участники сборника «вопросами второстепенной важности»? Вопросы о насилии, об аскетизме, об устройении общественной жизни, ее идеале и завтрашней практике по пути устремления к идеалу, — что это, важные или неважные вопросы? Должны ли они решаться, или хоть ставиться, но разногласно у людей одного и того же миропонимания? Или они столь второстепенны, а круг «христианского миропонимания» так узок, что вопросы эти, естественно, решаются индивидуально, каждый по-своему, за чертой?

Нет, конечно, нет. Авторы сборника «Вопросы религии» — люди глубокие, талантливые и — это главное! — искренние. Они искренно убеждены, что вопросы эти не второстепенны. Они искренно верят, что объединены, для решения вопросов, христианством, и что христианство есть известное понимание мира. Они это говорят — и я верю, что они так верят. Верю в веру — но не в факт. Потому, что если б объединяло их не слово «христианство», а одно и то же *миропонимание*, один и тот же взор на жизнь и на мир, одно и то же его ощущение и восприятие, не было бы в сборнике таких одиноких, одинокомучающихся людей, ставящих самые важные, самые глубокие человеческие вопросы, и одиноко, различно, по-христиански — но по-своему, только по-своему, их разрешающие.

Книга начинается статьей В. Свенцицкого «Христианское отношение к власти и насилию», а кончается Булгаковым «Церковь и социальный вопрос». Весь сборник посвящен отношению христианства к общественности; слишком ясно, что для авторов это не второстепенное нечто, а самое главное, самое важное; тут-то и жаждут они единодействия, веря в свое единомыслие. Булгаков последнее время пишет почти исключительно о созидании устоев для «христианской общественности». Он верит в нее мягко, трепетно, оптимистически, нежно, любовно; ему кажется, что вот-вот, еще немного, — и она уже тут, уже все есть. Он почти прав, потому что в своей, очень христианской, мягкости ему немного и нужно. Церковь христианская, в частности православная, истинная во всем, и вечная, — в данный момент истории еще чего-то не поняла, еще держится,

внешними своими проявлениями, за самодержавие, — но она поймет, вот сейчас поймет, и все будет хорошо. И добрые, прогрессивные священники будут служить в храмах, — окруженных «внешним двором», — миром, «христианской» мирной жизнью, государством, — конечно, самым тоже «христианским», на социальных началах. Это будущее христианское устройство Булгаков представляет себе непременно с «внешним двором», много раз настаивает на «внешнем дворе». Выражение он взял «от писаний»: он любит тексты, особенно из апостолов, но на этот раз он взял Апокалипсис. И неудачно. Ибо там говорится: «...а внешний двор храма исключи и не измеряй его: ибо он дан язычникам: они будут попираť святой город сорок два месяца»².

В самом деле, какая же христианская общественная жизнь с «внешними дворами» и внутренними притворами? Но что делать, Булгаков истинно-христиански мягок. И в сборнике он доводит, последовательно, мягкую ширину свою до полного разъединения, даже до противоположения *Церкви* и *Жизни*, устраняя в жизни всякое действие, делание, всякий реальный шаг. Действие его заключается лишь в «религиозном пропитывании» того положения, в котором христианское сознание тебя застало. Если ты фабрикант, если ты чиновник, если ты офицер, прими это без протеста, не ломай; — «оставайся в том звании, в каком призван», приводит Булгаков цитату из послания и добавляет: только пропитывай дело свое христианским духом. Дальше в терпимости, кажется нельзя, идти. Сам автор оговаривается: «В таком отношении иные усмотрят “оппортунизм”, не “ленивое, холодное, боязливое” отношение к делу. Это только искренний, *свой*, взгляд на мир, и сообразно своему темпераменту принятое слово “христианство”». Это несколько не мешает Булгакову искренно (лично и уединенно), верить во Христа. В этом смысле Булгаков, несомненно, был и остается христианином.

А вот другой, так же искренно, может быть, более пламенно верующий во Христа — Свенцицкий. Как же он, идя из *своего* миропонимания, освещает, эти не второстепенные, а самые первостепенные вопросы? Если у Булгакова — христианская мягкость, нежность и терпимость — у Свенцицкого христианская суровость, беспощадность, резкость, часто похожая на жестокость. Тихих мечтаний Булгакова он, вероятно, и не слышит. За словами его так и чудится строгий коричневый лик со сжатыми бровями, с тяжким золотым нимбом, мерцающим в лампадных лучах. «Кто не отрешится от этого и от того и еще от

этого... тот недостоин Его», — вот что говорит все время Свенцицкий. И говорит так, что мягкие, нежные, христиане, вроде Булгакова, непременно должны пугаться и трепетать, — когда он говорит. Пока говорит. Он для них не убедителен, но — внушительен. А *по-своему* он прав не больше, а ровно столько же, так же, как и они. Он в той же мере, такой же действительный «христианин».

В статье своей Свенцицкий, доказав как-то психофилософически, малоубедительно, но сложно, что насилие и убийство — две вещи совершенно разные, что можно, признавая насилие (над плотью, это заметьте!), не признавать убийства, кончает совсем не по-булгаковски, и даже наоборот: «Да, христиане могут, должны прибегать к насилию в отношении неверующих (понимая это слово в нашем смысле *). Насилие христиан должно быть направлено не на насильственный привод ко Христу, а на ограничение той похоти, которая растлевает человечество. А потому христиане могут и должны бороться с экономическим гнетом *насильственными* (курс<ив> подлинника) приемами, забастовками и т. д.» ... «во имя Христово, во имя изгнания из тела человеческого развращающих его сил» ... «и когда Церковь отделится от государства, она должна будет начать с неверующими борьбу против существующего капиталистического строя».

Таково заключение статьи. Раньше Свенцицкий, подчеркивая, выразил очень верную мысль: «Никакое *христианское государство* немислимо». Он думает, что, если бы весь мир сделался «христианским», то не было бы вовсе государства, а была бы одна Церковь. Пока же — Церковь должна бороться с «внешними» насильственными мерами. Да, уж тут не до того, чтобы всякий фабрикант, как и рабочий, оставались мирно тем, что они есть, исподволь пропитывая свою жизнь христианским духом! Не до ожидания близкого пришествия добрых, сознательных священников! Напротив, Свенцицкий называет «церковное либеральничанье» — «полуистиной» и сурово его осуждает.

Хорошо, так что же все-таки делать и как мыслить христианину? По Булгакову или по Свенцицкому? Они оба претендуют на христианское мировоззрение. Мало того, они оба почему-то считают, что они в одной и той же христианской Церкви, и даже именно православной. Какое же миропонимание у Церк-

* Т. е. не то, что не крещенные, только не такие «христиане», как Свенцицкий, не такие же точно.

ви? Булгакова или Свенцицкого? С кем же она? Или где они? Впрочем, к Церкви мы вернемся, а пока взглянем добросовестно внутрь сборника, нет ли все-таки у Булгакова единомышленника; нет ли хоть двух, если не трех, с одинаковым «миропониманием».

Вот методист Эрн. Это очень умный человек; не писатель; несомненно тоже верующий. Он скромно озаглавил свою статью «о приходе» — но пишет явно о христианской общине, как обособленной единице, подробно развивает ее экономическое положение, требуя все время «общения имуществ», — земли, орудий производств и т. д. Он опирается всей тяжестью, со многими ссылками и текстами, на первые века христианства, на первые общины апостольские. Со 132 страницы перевернем листы до 314. Булгаков пишет: «Мы отрицаем в самой идее церковно-хозяйственные общины, которых мы не знаем и в первые века христианства, и так учит об этом и ап. Павел, требовавший, чтобы каждый оставался в том звании, в котором призван (1 Кор. 7, 2), рабов оставлявший по-прежнему рабами, а господ господами...» и т. д. Выписывать далее не стоит, далее идет уже столько же против Эрна, как и против Свенцицкого с его насильственной борьбой.

Но у Эрна есть в сборнике и еще противник. Еще один верующий христианин, еще один, из «объединенных тем же мировоззрением». Это Волжский. О, не методист-Эрн, не мягкий христианин Булгаков, и не Савонарола-Свенцицкий³ — это пламенный и слабый мистик, мятущийся и беспомощный, любящий и отвергающий, жаждущий и сомневающийся, спасенный и погибающий. Литературу, слова, как плоть ее, — он чувствует больше всех других, и с трогательной горечью рвется к ней. Если сказать, что он не верит во Христа, что он не «христианин» в этом смысле, — то кто ж верит? В то время, как Свенцицкий зовет верующих к насилию над неверующими, Булгаков как тактику прописывает «пропитывание», и как идеал рисует себе храмы и «внешние дворы», Эрн обсуждает устройство общин, отрицаемых в принципе Булгаковым, и неизменно подкрепляет свои доводы ссылками на первые века: «И так было в Церкви Апостольской, но так должно быть и в Возрожденной Церкви» (с. 124). «Так и было в Церкви Апостольской» (с. 134), — пока все это происходит, — Волжский с надеждой отчаяния протягивает руки к соловьевскому и даже, может быть, за-соловьевскому идеалу «религиозного целого свободной теократии», и тут же, не заметив, опрокидывает Эрна со всеми его опорами... «Христианское действие, — говорит

Волжский, — *не может быть* возвращением к опыту первых христиан; религиозный опыт — в истории, а история не возвращается. Религиозно-христианское делание, “христианская политика” не может быть повторением дела первых христиан еще и потому, что оно уже сделано, новое должно претворить его в себя вместе с претворением вековой культуры, и осложнено живым предвкушением, только еще чаемого, обетованного...» Кончает Волжский «трагизмом противоречий», и говорит, что трагизм, «внутренне принятый», — «глубочайший трагизм христианства в жизни — трагизм аскетизма по преимуществу». «Только здесь, только в *аскетическом трагизме* возможен подъем» над правдой жизни к совершенству правды Христовой.

Это куда темнее, чем приходы Эрна, забастовки Свенцицко-го, благодушная святая нежность Булгакова, но ведь это тоже «христианское мировоззрение», и оно опять совершенно иное, даже исключаящее все другие из данных, совершенно так же, как и оно исключается любым; хоть эрновским, хоть булгаковским. Страннее же всего, что и Волжский тоже считает свое аскетическое христианское мировоззрение единственным «истинно-христианским», ибо присутим сердцу единой истинной христианской Церкви, и опять то же, — православной.

Господи, да что же тут происходит? Неужели одиночество этих людей такое последнее, такое страшное, что они даже не видят в лицо того, кто стоит рядом, никто никого не слышит? Или слышат лишь звук одного произносимого всеми слова — «христианство», иногда еще «Церковь»? И вот они, для религиозного соглашения, довольствуются общим словом: о то согласие, которое ими бессознательно ощущается и которое и свело их вместе — совершенно простое, чисто человеческое, совершенно внерелигиозное согласие: единодушный протест русских интеллигентов против устаревших, непереносимых более, форм русской государственной общественности. Тут они и согласны. А далее, — при вопросе *во имя чего* протест, — начинается и у них, как во всяких обыкновенных кружках и соединениях, — разногласия личностей: один склонен больше к перманентной революции, другой к постепенным реформам, третий... еще к чему-нибудь, и так до бесконечности.

Держась их точки зрения. Приняв их взгляд на Церковь, как на носительницу истины и единого истинного миропонимания, — нельзя, невозможно признать, что все христиане сборника «Вопросы религии» к ней принадлежат. Принадлежит только который-нибудь один. Они не могли бы сами с этим не согласиться, если б захотели выслушать друг друга. Не изме-

нив своей точки зрения, они не имеют никакого ни внешнего, ни внутреннего права, и ни малейших оснований считать себя сынами какой бы то ни было одной матери.

Но это основание имею я.

И я, действительно, смотрю на них, как на соединенных и религиозно, соединенных «христиански», — в той единственной точке, в которой только и возможно «христианское» соединение: в вере каждого в Личность Христа. Понимая христианизм *таким* образом, можно допустить, что они — сыны одной и той же, не православной непременно, а всякой «Церкви», исповедующей веру во Христа. Если, конечно, соединение людей в одной этой точке, в личной вере в Единую Личность Христа, соединение, еще *не обуславливающее* общего отношения к миру. Еще не дающее никакого на мир и человечество определенного взора — может быть названо Церковью.

Да, всякому из христиан, о которых мы говорим, дорог Христос — дорога и мировая человеческая история. Они хотят соединить Христа с историей мира, оправдать историю перед Христом. Но это с их христианством *невозможно*. Они хотят «возродить» христианскую Церковь. Уж если надо «возродить» и «восстанавливать», — значит, признают и они, что «христианство» умирает, падает. В истории, значит, пошло что-то не то, не туда, и давно уже. Так давно началось это «падение» христианской Церкви, и так это общеизвестно, что в любом учебнике можно прочесть спокойную фразу: «Когда же вскоре благодатные дары в церкви прекратились»... Прекратились! До Соборов, чуть ли не во времена апостолов — прекратились! Что же, все человечество так «развалилось», что смело истину, шутя победило ее, и вера в сердцах оскудела, и праведников не стало? Нет, отнюдь нет. И вера не оскудела, и праведники были и есть. Только «Церковь» и оскудела, т. е. Собрание. Соборность верующих — а верующие живы и целы. Если не предаваться досужим мечтам о чудесном «возрождении» Церкви, — то человеку, упорно верующему в «христианство», остается проклясть весь исторический путь человечества чуть не со второго века и затем, отойдя, погибать вместе с какой-нибудь «церковью» из погибающих: католической, православной — безразлично.

А между тем (неужели так трудно это увидеть) ведь нам дано, не умаляя истины Христа, не отнимая ни единой черты от веры в Его Божественную Личность, и даже именно из этой веры исходя — не только оправдать историю, но признать, что иная она и не могла быть. Почему не хотим мы взглянуть прав-

де в глаза? Почему не хотим сказать себе раз навсегда: не «не удалось» христианство, но христианства общего, общественно-го, всечеловеческого, церковного в высшем смысле, — не было, не могло и не может быть, потому что *христианство не церковно*? Я не знаю, я не могу постичь, — что отнимает у христианина, то есть у человека с личиной, искренней верой во Христа, — у Булгакова, у Свенцицкого, у Волжского, — признание, что «христианство» и есть именно полная, личная вера в одну Божественную Личность? Если мы скажем, что Христос открыл нам только эту необходимейшую правду о личности», «правду о человеке», которая не есть еще соединение отдельных людей, познающих лишь себя и Единого, в одно новое тело, если мы скажем, что Христос — только *Путь* к такому соединению всех — умалит ли это Христа? Христианство не церковно, но оно — путь к Церкви, путь самоуглубления в одинокой еще, личной вере, — этому пути человеческая история не изменила. Она верно послужила Христу, верно и неприкосновенно пронесла Его истину сквозь двадцать веков, углубляя ее, воплощая ее в каждой отдельной верующей душе. *Церкви* Христовой, только Христовой, начинающейся Христом и заключающейся Им Одним — быть не может, потому что Христос только там, где Отец и Дух, где полнота; истинная *Церковь* и есть полнота. Почему, если мы на мертво воспринимаемый догмат о Троице взглянем живо, реально, если скажем, что Церковь, *соединение* отдельно-верующих, подлежит воплощению лишь в пришествии Духа, которого пошлет Сын и который «будущее возвестит нам»; почему, если мы возьмем Христа лишь как истину, жизнь и *путь* к Церкви — мы умалим Христа?

И пусть не возражают мне, что в христианской Церкви — не мертвый догмат о Троице, а сама Троица. Достаточно капли трезвости. Капли искренности, чтобы признать, что во всех христианских церквях всегда был и поныне жив только один Христос, об Отце же Духе лишь упоминается. Весь трепет, вся молитва, все сердце каждого верующего были отданы только Христу. И это благо. Если же не так, если права «церковь» существующая, утверждая себя истинной Церковью всечеловечества, ибо уже во времена апостольские сошел на нее Дух, излилась благодать, — то не в этом ли утверждении последняя гибель христианства и Христа, победа над ними истории? Потому что, если в те времена уже исполнилось обетование «о будущем», уже излилась вся благодать, — то ведь она и иссякла. «Прекратились в церкви благодатные дары». Чего же и откуда ожидаем мы еще, если все уже было — и перешло? Тогда ко-

нец, тогда воистину «тщетна и вера ваша» в живого Христа, нынешние христиане! Но не тщетна вера, ибо не церковно учение «церкви» о Духе. Был путь, было воздыханье, чаянье и надежда в каждой отдельной верующей душе, — а исполненья не было еще. Был только залог его: одинокая крепкая вера, — живая — в Одного Христа.

Но с одним Христом, взяв Его за единственную *неподвижную* точку, — мы еще не имеем ни мира (космоса), ни человечества. Мы принуждены смотреть на них, относиться к ним вне круга нашей веры, внерелигиозно. На личной вере во Христа еще нельзя построить никакого мировоззрения, тем более общего. Обманывать себя можно, но ничего из этого не выходит, как мы только что видели. Стараться «возродить» христианскую, в частности православную, «Церковь» — может быть и можно, но для этого уже следует сойти в ее последние глубины, в ее истинное сердце — в подвижничество, в схимничество, — с откровенностью отвернувшись от мира, презреть времена и путь, нам во времени данный и во времени пройденный. Возвратиться к уединенному совместному житью углубляющих свою личную веру праведников. Снова, самим начинать оконченное, делать сделанное, — и сделанное так велико, так прекрасно! Неужели не послужило оно нам, неужели оказалось нам не нужным, точно и вовсе его не было? Отрицая и *эту* историю — «как бы не оказаться нам богопротивниками?»

Я не могу верить, однако, чтобы порыв людей, верующих во Христа, к созданию «религиозной общности», так и разлился бесплодно в бесплодных попытках найти общность «христианскую». Самая жажда «Церкви», — общности, соединенности людей не без Христа, а со Христом, — это жажда есть уже показатель путей и времен.

Только надо, идя, смотреть не назад, а вперед.

